

прислали нам письма и звонили по телефону, выражая свое мнение о рассказе «Витя Малеев в школе и дома» Н. Носова, опубликованном в журнале «Советская литература», 1952, № 9. Все, читавшие рассказ, единодушно признают, что он является классическим. Много людей обратилось к нам с просьбой издать его на английском языке».

Как видим, произведения Носова привлекают читателей самых разных стран прежде всего своим здоровым реализмом, своей высокой идейностью, своей активностью и устремленностью в будущее.

Иванов и Петров? М., 1963

Артамонов С.Д. О повести Солженицына // Писатель и жизнь. М., 1963. С. 51–61. (Учен. зап. Лит. ин-та им. А.М. Горького; Вып. 2)

С. Д. Артамонов

О ПОВЕСТИ СОЛЖЕНИЦЫНА

Я с большим предубеждением открывал повесть. Думалось, не спекуляция ли здесь на политической теме, не сенсация ли?

Кругом говорили о повести. Называли просто «Одиннадцатый номер» («Новый мир», № 11). Знаменитый номер журнала! Его искали, просили у знакомых.

Говорили разное: «Читается без отрыва». «Страшно». «Особый язык». «Ермилов сравнил с Толстым», или: «Вообще-то ничего особенного, каждый это смог бы написать, кто был «там» (а «там» были многие), «Ермилов перехвалил» и т. д. и т. п.

И вот журнал в моих руках. Девушка-библиотекарь сберегла. Шепнула, что можно продержаться до понедельника. Целых два дня. Вступительные строки Твардовского пробежал глазами почти без мысли. Солженицын! Фамилия непривычная. Не сразу входит в память. Кто он? — Этого никто путно не знал. Говорили: учитель где-то в Рязани. Скромный человек.

И вот вхожу в повесть, и все окружающее унеслось, ни кабинета, ни московского шума за окном, и только — снежные равнины, мороз, колючая проволока, темная толпа «зэков» и жизнь их такая страшная, что и в бреду горячечном не явится воображению. Страницы уходят за страницами, их не замечаешь. Но на душе светло, чувства ужаса нет. Уж и улыбка готова появиться на лице. Как же он хорош, как обаятелен этот милый, такой чистый, такой целомудренный Иван Денисович!

Сюжета нет. Никаких атрибутов повествовательных жанров: завязки, кульминации, развязки — ничего этого нет. Просто жизнь за один день, с подъема до отбоя, дела, — маленькое, прямо-таки мизерные, — заботы, опасения, волнения, — но нельзя оторваться, и все кажется значительным.

Последняя страница! Неужели уже все? Закончился один день в жизни Ивана Денисовича, а их было «там» 3653, их будет еще много, много таких дней. Но зачем же не рассказал нам автор о каждом из них? Как же он может увести от нас своего героя? Мы уже не в силах забыть его. Кажется, он вошел в нашу жизнь, — добрый, терпеливый, мужественный русский человек.

Повесть Солженицына — не только крик гневного сердца (гневаться есть чему), не только боль о поруганном человеческом достоинстве (для такой боли есть большие основания), — повесть Солженицына — гимн человеку. От первой до последней страницы, подобно лирическому рефрену, проходит скромное и вместе с тем сильное и гордое слово Ивана Денисовича — «не уронить себя».

Он слышит первое наставление бывалого человека, «старого лагерного волка», и помнит его как «отче наш».

«— Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто погибает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется («роняет себя». — С. А.) да кто к куму ходит стучать (доносчики. — С. А.).

Насчет кума — это, конечно, он загнул. Те-то себя берегают. Только береженья их — на чужой крови».

Не хочет такого «береженья» Иван Денисович, ой как не хочет, да и не позволит себе никогда такого, что бы с ним ни делали, и мы верим этому.

Мал с виду Иван Денисович, робок, услужлив. Но не обманитесь. Не слишком-то полагайтесь на первое впечатление. Спросите лучше у Солженицына, он его очень хорошо знает. Писатель вам покажет в этом человеке многое такое, что наполнит ваше сердце гордостью не только за обаятельного героя повести, но и за человека русского, за человека советского.

Горд Иван Денисович, совести своей ничем никогда не запятнал. Трудился всегда честно и превыше всего для себя почитал нравственное удовлетворение. «Легкие деньги — они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот мол ты заработал». Так рассуждает он. Так и поступает. Никогда бы не позволил себе Иван Денисович вступить в недостойную сделку с кем бы то ни было. На то у него есть своя гордость.

«Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился...».

Труден каждый шаг ээка. «Только и высматривай, чтоб на горло тебе не кинулись». Немудрено в этих условиях надломиться, потерять себя, свою гордость, свою честь, свое достоинство, как надломился «шакал» Фетюков. Недаром Фетюков многозначительно пророчит нравственное падение недавно прибывшему в лагерь кавторангу: «Гордей тебя были».

Да, да! Были и гордые, и смелые, и в сердце большие идеалы питали, но вот дали человеку номер вместо его человеческого имени, и стал он предметом неопределенным, всем похожий на человека, но не человек, с умом и с сердцем, но как бы неодушевленный. К номеру прибавили еще общую для всех позорную и грязную кличку «Падло». Хочет вчерашний «человек» гордо распрямиться, вскинуть голову да взглянуть на небо, а его за это в ледяной карцер, в каменный мешок. И опускаются у вчерашнего «человека» плечи и перестает он в себе видеть человека, а только номер да бранную кличку, и, голодом доведенный до одурения, начинает лизать миски. Был человек и не стало его.

Но Иван Денисович не надломился, не растерял своих нравственных достоинств, а может быть, даже и приобрел и крепче утвердился в своем человеческом качестве. «...Он не был шакал даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался». Вот в чем смысл всей повести. Вот почему такие светлые чувства рождает в нас каждая ее страница. И мы с неослабным вниманием, интересом, симпатией следим за каждым шагом, каждым движением ее героя. И удивительно, в вещах обыденных и простых мы обнаруживаем значительность больших идей.

Кажется, очень несложна, незатейлива, небогата думка этого человека, а — глядишь, до всего дошла и так это ловко охватила всю ширь земную и проникла в каждую извилинку вещей. Не философ Иван Денисович, и отродясь слова-то такого не говаривал, не мыслитель он,

не грамотей. Кое-кто из читателей даже брезгливо поморщился: «Отчего автор взял такого, почему не изобразил интеллигента? Тогда бы...» — А что тогда бы? Что тогда бы?..

А ведь, думается, нет на свете умнее человека, чем Иван Денисович. Все он понимает и так это тонко, так пронизательно, что диву даешься, и мысли его — большие и до каждого человека доходят, и до общечеловеческой высоты поднимаются. Вот о чем думает Иван Денисович, когда увлеченно занят работой. (И сейчас, сейчас, когда руки его привычно и ловко укладывают кирпич в стенку, он мыслит.)

«— Ребята! Ребята! — Шухов теребит. — Вы бы мне шлакоблоки на стенку! На стенку подымали!

Уж кавторанг и рад бы, да нет сил. Непривычный он». Все видит, все примечает Иван Денисович и хоть увлеченно занят кладкой стены, но видит человека, и сейчас мысль его — о кавторанге, смелом и стойком, но больном, тающем на глазах. Да, да, не раз примечал Иван Денисович, глядя на бывшего капитана второго ранга, что на глазах доходит человек, — и неприметно жалеет его, болеет за него душой, как вот и сейчас. Рядом с кавторангом — Алешка, второй подручный, тоже лагерный, тоже ээк. Кавторанг смелый и решительный, коммунист, и убежденный коммунист. Он еще хочет увидеть коммунистов в тех людях, которые держат лагерный режим, даже в том страшном лейтенанте, имя которого Волковой.

Алешка иной. «Безотказный этот Алешка, о чем его ни попроси. Каб все на свете такие были, и Шухов был бы такой. Если человек просит — отчего не пособить?».

Вот ведь о чем думает Иван Денисович, — не философ, не мыслитель, не грамотей.

В другой раз он задумался о вражде, корысти людской, лихой беде человеческой и горестно вздохнул: «Кто кого сможет, тот того гложет». А то о своих товарищах по несчастью: «Кто арестанту главный враг? Другой арестант. Если бы арестанты друг с другом не сучились — э-эх!» И широкий символический смысл имеет эта думка Ивана Денисовича.

Добр и чуток Иван Денисович. Он услуживает Цезарю, но не лает, не «шакалит» — он работает и за труд свой получает, да, да, это — работа. Взгляните на дело без ханжества и вы поймете это. Нет, не роняет себя Иван Денисович. И скромненький он.

«Толкнул Шухов Сеньку под бок: на, докурн, мол, недобычник. С мундштуком ему своим деревянным дал, пусть пососет, нечего тут. Сенька, он чудак, как артист: руку одну к сердцу прижал и головой кивает. Ну да что с глухого!»

Стесняется Иван Денисович и Сеньку «чудаком» называет, хоть и знает, что значит лагерному человеку глоток табачного дыму, да неловко ему принимать благодарность. В другой раз добыл Иван Денисович два печенья. А уж сколько ума, сноровки да героизма надо было проявить, чтобы заслужить такую награду, и одно печенье отдал он Алешке. «Неумелец он, всем угождает, а заработать не может». Так рассуждает про себя чуткий и внимательный Иван Денисович. И опять неловко ему от благодарности людской. «Улыбается Алешка.

— Спасибо! У вас самих нет!

— Е-ешь!

У нас нет, так мы всегда заработаем».

И другим, многим помогает Иван Денисович. Сейчас на вечерней поверке он стоит босиком на голом полу. Валенки сушатся, и жалко

их снимать с печки, авось обойдется, и быстро отпустят. «Под ногами его пол был мокроват и ледяно тянуло низом из сеней». Иные были в тапочках. Иван Денисович тоже мог бы иметь их, но... «Сколько он тапочек перешил — все другим. Да он привычен, дело недолгое». Скромнен Иван Денисович, даже в мыслях своих преуменьшает заслугу свою: дело недолгое! И так непритязателен, так мало значения придает самому себе, что, кажется, отказывает себе в праве иметь и обычные человеческие слабости.

«Я вроде это... болен... — совестливо, как будто зарясь на что чужое, сказал Шухов». А ведь тоскует и по вниманию, и по ласке, и по доброму слову. Как хочется ему услышать: Шухов, что ж ты не идешь, ведь тебе посылка! — Но знает, как тяжело там, в его родном Темгене, собрать посылку, и сам отказался от нее и не желает такой жертвы от родных. Сердце человеческое! Оно же просит молчаливо и затаенно этой жертвы, как дальнего привета, как дара любви, и само же оно, это благородное русское сердце, отклоняет решительно и бесповоротно такую жертву. Автор чутко уловил эту внутреннюю борьбу чувств.

Не подобострастен Иван Денисович, гордость свою имеет, но людей уважает, и чуткость, гуманность его от этого приобретает тот особый отпечаток, который сразу отделяет его от всепрощающего вегетарианства толстовского Платона Каратаева. Смотрим мы на людей всепонимающими глазами Ивана Денисовича: какие богатыри встают перед нами!

«И хочется Шухову спросить бригадира, там же ли работать, где вчера, на другое ли место переходить — а боязно перебивать его высокую думу...»

Высокую думу!

Всякое бывает в жизни: вчера человек тянул баржу, сегодня взвалил на свою богатырскую спину судьбы людские. Поди угадай, что человеку по плечу.

А ведь не мелок этот «зэк», на которого смотрит сейчас Иван Денисович, право не мелок. «Стоит против ветра — не поморщится, кожа на лице — как кора дубовая».

И второго богатыря отмечает Иван Денисович, Сеньку Клевшина. Мал рассказ о нем, да бесконечен смысл этого рассказа.

«Сенька, терпелик, все молчит больше: людей не слышит и в разговор не вмешивается. Так про него и знают мало, только то, что он в Бухенвальде сидел и там в подпольной организации был, оружие в зону носил для восстания. И как его немцы сзади спины подвешивали и палками били».

А вот и третий богатырь. Здесь уже не рассказ, не повествование, это уже поэма, и каждое слово, — крепкое, объемное, крупное русское слово, — полно патетической силы и славит подвиг жизни.

«Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчетно и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали».

Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Изю всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом казалось, будто он еще сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голый стричь давно было нечего — волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще уперлись в свое. Он мерно ел густую баланду ложкой деревянной, надшербленной, но не уходил головой в миску,

как все, а высоко носил ложки ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие десна жевали хлеб за зубы. Лицо его все вымотано было, но не до слабости фтиля-инвалида, а до камня тесанного, темного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, выдать было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нем, не примирится: трехсотграммовку свою не ложит, как все на нечистый стол в роспесках, а — на тряпочку стиральную».

Много говорят о специфике каждого вида искусства, а здесь, право, не знаешь, что же создало этот зримый, живой образ: то ли слово писателя, то ли кисть живописца, то ли резец скульптора.

Но не о мастерстве только хочется говорить здесь, — о великой нравственной силе идей автора. Некоторых смущает внешнее сходство. Кое-кто склонен привязать А. Солженицына к Достоевскому. Вот, мол, ничего нового, почти как «Записки из Мертвого дома». Пустое! Солженицына от Достоевского отделяет многое и прежде всего 1917 год.

Достоевский, великий мастер и гуманист, жалел человека, плакал о нем и спасение человека видел в «смирении». Если вспомнить Платона Каратаева, то, думается, и Лев Толстой недалеко уходит от подобных воззрений.

Как далек от этого Солженицын! Он славит гордые силы человека («Засело-таки в нем, не примирится»), а ведь и он, автор, испытал сам все то, что с такой правдой описал. Значит, и он не сломился, как и его герои.

Откуда это идет? Только ли от индивидуальных качеств человека, от его натуры, характера? — Нет. Главное здесь в эпохе, в тех идеях, которые витают в воздухе и подчас незримо питают нас.

Вся философия нашего времени утверждает право человека на свободу, утверждает человеческое достоинство, славит силу духа, красоту подвига. Эту философию не мог уничтожить Сталин. Может быть, много было лицемерия, но люди верили в буквальный смысл слова. И рабов по духу, по чувствам, по мыслям не было у нас. Разве только Фетюковы, и лагерные, и «вольные», — карьеристы и приспособленцы.

Очень показателен в книге протест моряка Буйновского. Он запальчиво защищает права человека, он верит в эти права. «— Вы права не имеете людей на морозе раздевать! Вы девятую статью уголовного кодекса не знаете!.. — Вы не советские люди! — долбает их капитан. — Вы не коммунисты!»

Это идет от духа времени, от тех идей, которые впитал в себя Буйновский. Потому и негибает он нравственно. Он, конечно, погибнет, это ясно, но не смирится, «не уронит себя». Видит его Иван Денисович, знает: «На глазах доходит капитан, щеки ввалились, а бодрый». Когда уходит капитан в ледяной карцер, идет на явную смерть, видит Иван Денисович, что богатырски ведет себя этот человек. Ни жалобы, ни стоны! «Только вздохнул капитан, да крикнул... — Ну прощайте, братцы, — растерянно кивнул кавторанг 104-й бригаде и пошел за надзирателем».

Красив протест капитана Буйновского, да безумен, все равно, что головой об стену. Походит на самоубийство. Так решают бывалые лагерники. «...Кряхти да гнись. А упрешься — переломись».

Что же это? Уж не философия ли это приспособленчества? И безразлично морщатся некоторые читатели. Тут вспоминают и услужливость Ивана Денисовича, и те две миски баланды, которые он ловко «косанул».

Всякое бывает приспособление. Одни идут на компромисс со своей совестью, а то и вовсе отбрасывают ее, роняют человеческое достоинство. Таков Фетюков. Вот это и называется приспособленчеством. Но кого же, кроме Фетюкова, мы можем назвать в повести именем приспособленца? — Никого. Путь Фетюкова ведет к гибели. Сильно презирает Иван Денисович Фетюкова, но как-то, задумавшись над его судьбой, решает с великой печалью, что погибнет он, погибнет, потому что уронил себя.

Есть второй путь — учет реальных условий жизни, окружающей обстановки. Если перед нами пропасть, мы же не бросаемся в нее и не отступаем перед ней, а перекидываем через пропасть мост. И делаем это с умом, технической сноровкой. И никому в голову не придет обвинить нас в приспособленчестве.

Так «приспосабливаются» к своим условиям жизни и герои повести А. Солженицына. Мы были бы поистине ханжами, если бы стали осуждать добрейшего, честнейшего и гуманнейшего Ивана Денисовича за ту долю лукавства, хитрости, изворотливости, которую он проявляет, подчас даже не только ради себя, но и ради своих товарищей по несчастью.

Образованный да ученый капитан Буйновский, а в жизни, что дитя малое, думает Иван Денисович. Другой бы слукавил, да отсиделся хоть до утра. «Темнит» за него бригадир, чтобы хоть как-нибудь облегчить его участь, а он сам тут как тут, сам в омут головой.

«— А? Я! — отозвался кавторанг из-под шуховской койки, из укрытия. Так вот быстрая вошка всегда первая на гребешок попадает».

Неказиста, грубовата речь Ивана Денисовича, иной брезгливо и поморщится от неэстетичного лексикона его, да человечна, гуманна его мысль и так чиста, как, думается, чист снег, запорошивший просторы той далекой и страшной округи, где затерялся обнесенный колючей проволокой лагерь эков.

Вот второй эвк, тоже образован да учен, но и он в делах житейских неловок. «...Небось много он об себе думает, Цезарь, а не понимает в жизни ничуть», — решает общий печальник Иван Денисович. Видит он каждое движение души человеческой, каждая ее забота ему понятна. Вот и сейчас приметил он, как заметался Цезарь, как неожиданно и врасплох застаёт его команда выйти в строй, и жалко Ивану Денисовичу человека и как не помочь человеку в беде и советом, и добрым словом, и практическим делом.

Каждый миг жизни Ивана Денисовича — упорная, мужественная борьба за существование. Фигаро у Бомарше заявляет: «Ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления всеми испаниями». Не меньшую осведомленность и находчивость приходится проявлять ради своего пропитания и Шухову. Автор высмотрел душой доброй и чуткой самые малые дела своего героя. Но малые ли эти дела?

«Доел Шухов пайку свою до самых рук, однако голой корочки кусок — полукруглой верхней корочки — оставил. Потому что никакой ложкой так дочиста каши не выешь из миски, как хлебом. Корочку эту он обратно в тряпицу белую завернул на обед, тряпицу сунул в карман внутренний под телогрейкой, застегнулся для мороза и стал готов (как хорошо это русское, народное, не книжное, но живое, обаятельное «стал готов». — С. А.), пусть теперь на работу шлют. А лучше б еще помедлили». И это последнее «лучше б еще помедлили!» Ну кто же, кроме

большого мастера, сердцевида увидит все это, поймет и так чутко, сердечно поведает о том миру?

Или о том, как покупает Иван Денисович табак у латыша, как спрятать продавец и покупатель. Здесь психологически тонко отработана каждая деталь сцены.

— Внатруску насыпаешь, а ты пригнетай.

— Ну на, на! — и пригнетает, но мягче.

На все это нужен глаз, глаз большого наблюдателя и художника.

Таких сцен, таких деталей — множество в повести. Они составляют основной материал, из чего строится она. Разве не изумительна, например, история о том, как доставал Иван Денисович деньги из телогрейки.

«А Шухов тем временем телогрейку расстегнул и нащупал изнутри в подкладочной вате ему одному ощутимую бумажку. И двумя руками переталкивая, переталкивая ее по вате, гонит к дырочке маленькой, совсем в другом месте прорванной и двумя ниточками чуть зашитой. Подогнав к той дырочке, он нитки ногтями оторвал, бумажку еще вдвое по длине сложил (уж и без того она длинновато сложена) и через дырочку вынул. Два рубля. Старенькие, не хрустящие».

Все здесь верно, тонко подмечено и увлекательно рассказано.

Борется за свою жизнь Иван Денисович, но не роняет себя. И это главное в нем. Добр и отзывчив, наблюдателен и по-своему горд, но скажите ему сейчас, что нет, кажется, на свете ничего светлее и богаче его души, он застеняется. Вот, мол, чудак! И все это, мол, от книг да от учености. Все они, ученые, такие! Чудаки! А я? Что ж я, так! Ничего себе... «Ученых» он наблюдал, слушал разговор их, да ничего не понял. Но не мог не заметить чуткий Иван Денисович, что очень охочи до этих разговоров образованные люди. Ему кажется это и странно, и «чуждо», но не может он не видеть, не ценить того, что «расцветают они друг другу, как маки». И уважает он непонятный, загадочный их ученый разговор. «Гм, гм, — откашлялся Шухов, стесняясь прервать образованный разговор... Постоял Шухов ровно столько, сколько прилично было стоять».

Есть у него свои радости: и пригреться, хоть на минуту укрыться от лютого мороза, и съесть миску горячей «баланды», и покурить, чтоб «благодать» разлилась по всему телу, но самая большая радость, которая отвлекает его от всех невзгод его горемычной жизни, — труд.

Здесь он преобразается. Он мастер, почти художник. Он снова обретает чувство своей значительности, снова становится человеком. Увлеченность работой до самозабвения. Пожалуй, здесь он и счастлив, потому что получает самое большое, что есть в жизни, — нравственное удовлетворение. «И как вымело все мысли из головы. Ни о чем Шухов сейчас не вспоминал и не заботился, а только думал — как ему колена трубные составить и вывести, чтоб не дымил».

Труд нравственно окрыляет и других. Люди работают с увлечением, кроме, конечно, Фетюкова. Этот и в труде не находит радости, ибо опустился до состояния животного.

* *
* *
* *

Милый, обаятельный, добрый — трудовой человек Иван Денисович. Автор заставил нас его глазами посмотреть на мир. И мы увидели многое такое, что не сумели бы рассмотреть сами. Что же это за волшебник, автор? Ведь это он, автор, такой чуткий, такой внимательный ко всему и ко всем. И как это ловко он спрятался за своего героя. Речь

автора и речь литературного персонажа слились, перемешались. Но какая в том беда? Этот единый поток так светел, так прекрасен!

Идеи, за которые ратует передовое человечество, нашли в Солженицыне горячего распространителя. Без помпы и парадности, без громких слов, без позы и рисовки автор вкладывает в сердца читателей благородные чувства.

— Любить и уважать человека и самого простого, самого незаметного с виду — человека-труженика. Искать и находить в человеке высокое и достойное, не гнушаясь его видом и состоянием, помогать человеку.

— Отбросить все националистические предрассудки, видеть только брата в сыне другого народа, другой нации.

Ивана Денисовича окружают люди самых различных национальностей: здесь и эстонцы, и латыши, и западные украинцы, и Цезарь, — в ком «всех наций намешано: не то он грек, не то еврей, не то цыган...», и все они люди достойные, и Шухов дивится каждому из них и в каждом видит человека.

— Любить труд и уважать его. Ценить творения рук человеческих, как это делает Иван Денисович: «Всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули».

Перед нами — гуманизм высокого полета.

Мне приходилось слышать толки о том, что-де нельзя говорить о гуманизме героя повести, что гуманизм — это философия, доктрина, а какая же может быть «философия», «доктрина» у неграмотного человека. Здесь всего лишь гуманность.

Спору нет, гуманизм и гуманность — не одно и то же, и в простом акте сострадания или жалости нельзя усматривать того высокого и принципиального отношения к миру и людям, что со времен Возрождения называют «гуманизмом».

Основоположники гуманизма не жалели человека, они дивились ему, восхищались им. Человек для них — властелин природы. Он наделен разумом, тончайшим инструментом познания мира. Физическая природа человека являет собой высшее совершенство красоты и гармонии. Человек создан для разумной деятельности, в этом залог его счастья. Так понимали гуманизм великие умы эпохи Возрождения.

Послушаем шекспировского Гамлета.

«Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движеньям! В поступках как близок к ангелу! В воззрениях как близок к богу! Краса вселенной! Венец всего живущего!»¹.

Куда же, кажется, скромнейшему Ивану Денисовичу до полета таких идей. Но ведь он не просто Иван Денисович Шухов, колхозник из деревни Темгенева, он сейчас на такую трибуну поднялся, что голос его слышат миллионы людей и у нас и за рубежом. Такова сила искусства. И каждое слово его, каждый жест полны значения. Прост, далек от культуры и образованности этот человек. «Невежество!» — возмущается в разговоре с ним капитан Буйновский. И справедливо. Но не прост человек, который вылепил этот образ, не прост автор великолепной повести. Не подкрашивает писатель живую правду действительности, но не все из жизни переносит в свою книгу. Кажется, что мелки, незначительны детали однодневной истории героя повести, а поразумаешь, сравнишь, сопоставишь, соединишь одно с другим, и создается картина достойная, создается и «философия» и «доктрина». И не фи-

¹ «Вильям Шекспир», т. I. «Искусство», М. — Л., 1949, стр. 490—491.

лантропическая жалость к человеку возникает в вашей груди, а великая гордость за человека, за его стойкость, мужество, за его богатырские нравственные силы.

Зачем бы, кажется, автору останавливать своего героя перед «высокой думой» бригадира, перед Сенькой-«терпельником», перед мужественным протестом Буйновского, перед «безотказным» «недобытчиком» Алешкой, перед стариком с лицом вымотанным «до камня тесаного, темного»? — Да для той же «философии», «доктрины», какую называют гуманизмом. Зачем бы автору рассказывать о том, как работает его герой, увлеченно и радостно в самых страшных, самых нечеловеческих условиях? — Все для той же самой «доктрины» и «философии».

Груба, корява, «неинтеллектуальна», хоть и выразительна чрезвычайно фраза Ивана Денисовича. «Что, гадство, день рабочий такой короткий? Только до работы припадешь — уж и съём!» А ведь за ней, за этой фразой, целая философия, доктрина жизни, свое понимание ценности жизни.

* *
*

Нельзя особо не поговорить о языке повести. Это что-то новое и очень значительное в нашей литературе. Можно слышать от некоторых изустных критиков, что вот, мол, опять в литературу хлынули, как в тридцатых годах, жаргонные, областнические словечки, всевозможные выверты и пр. и пр.

Да, конечно, в повести есть жаргонные словечки: «Шмона», «Падло», «Кондей», — но без них не получилось бы картины, они были в лагерном быту, их нельзя было обойти в «летописи» событий даже одного дня. Но их немного, они нисколько не засорят наш литературный язык. Никуда дальше страниц повести они, конечно, не пойдут.

Но язык повести богат иными словами, — яркими, сочными, красочными. Как много их собрал автор, как раздвинул он этим возможности художественного изображения. Часто это — старые русские слова, но взятые в необычной форме, необычном сочетании.

«И гордей² тебя были». Как великолепно это слово «гордей», как вяло в сравнении с ним наше литературное «более гордый!» Это слово писатель не выдумал. Так говорят люди не книжные.

«Медленно, *внимчиво*». Можно было бы сказать «внимательно», но потускнела бы мысль. «Он Фетюкова — шакала *пересек*». Можно было бы сказать «опередил», но это было бы и вяло и неточно. И опять слово не выдумано. Прислушайтесь к речи людей не книжных, они говорят именно так, и речь их очень выразительна.

Великолепный народный, просторечный язык, которым некогда восхищался Пушкин, легко и свободно живет на страницах Солженицына, в этом просторечье — и наш XX век и даль историческая, русская, давняя.

«Ой, *лото* там сегодня будет: двадцать семь с ветерком, ни *укрива*, ни *грева!*»

«Может, сегодня меня обманули *не круто*».

«Минутка короткая, *разморчивая*».

«Теперь и в больнице *отлежу* нет».

«А для других это *сласть*».

«Шухов *доспел* валенки обуть на две портянки».

«Свое брюхо *утолакивать*».

² Здесь и далее выделения в цитатах сделаны мной. — С. А.

«Ложкою обтронул кашу с краев».

«Дверь недоприкрыта...»

«Небо белое, аж с сизеленью».

Иногда слышится что-то исконное, былинное: «...не так разговор гудет, как снег скрипит», и сравнения — то ли от песни старорусской, то ли от сказки, или былины: «Глаза, как свечи две, теплятся».

Язык повести очень лаконичен, да и вся она сжата до предела, а между тем, кажется, ощущаешь ее мир всеми пятью чувствами, и все врзается в память. В чем же тайна этого письма? — В необыкновенной выразительности народного, просторечного слова, в динамике самой речи.

* *

*

Писатель многое сказал в своей повести, сказал он и о своих эстетических принципах, — коротко, но предельно ясно.

Их три, этих эстетических принципов.

Первый: Художник не имеет права на ложь. Никакие смягчающие обстоятельства здесь не принимаются в расчет.

(«Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании. Глумение над памятью трех поколений русской интеллигенции!».

— Но какую трактовку пропустили бы иначе?..

— Ах, *пропустили бы?* Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гений не подгоняют трактовку под вкус тиранов!»)

Второй: Содержание — вот главный элемент искусства. Формалистические изощрения лишь губят его.

(«— Кривлянье!.. Так много искусства, что уже и не искусство», — говорит страстно («сердится») и мудро X — 123».)

Третий: Искусство призвано будить добрые чувства; следовательно, созидать добро.

(«— Но слушайте, искусство — это не *что*, а *как*.

Подхватился X — 123 и ребром ладони по столу, по столу:

— Нет уж, к чертовой матери ваше «как», если оно добрых чувств во мне не пробудит!»)

* *

*

У нас много говорят о проблеме традиций и новаторства. Много уже сказано в печати, но пока еще немного продуманного, верного, прочного. Кое-кто даже досадливо отмахивается от XIX века, сетуя на то, что вот, мол, хотят сделать «гоголевскую «Шинель» несменяемой одеждой русского искусства»³.

А ведь повесть Солженицына являет собой достойный образец органического единства традиций и новаторства.

Это внимание к заурядному человеку, без титулов и рангов идет от «Медного всадника» Пушкина (чиновник Евгений), от «Шинели» Гоголя (вот вам и «несменяемая одежда русского искусства», тов. Караганов!).

В XVIII веке в Западной Европе широко обсуждался вопрос о тра-

гическом герое. Кто может быть удостоен такой чести? Классицисты полагали, что — только выдающаяся личность — и по общественному положению (бог, мифический герой, царь, вельможа) и по интеллектуально-нравственным качествам. Просветители говорили иное: довольно о королях! Сострадания заслуживает и простолюдин.

Трагический герой — простолюдин в просветительской литературе предстал в сентиментальном ореоле, и это значительно ослабило художественный эффект предпринятой просветителями литературной реформы. Только в XIX веке и в русской литературе так называемые «маленькие люди» поднялись на высокую сцену трагического искусства. Пушкин открыл им дорогу. Теперь уже не было и тени сентиментальности. Суровая, жестокая и сильная правда зазвучала в русской литературе о трагедиях «маленьких людей» — чиновник Евгений в «Медном всаднике», станционный смотритель, а потом Башмакин Гоголя, «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные» Достоевского.

Эту благородную традицию русского классического искусства продолжает Солженицын.

Но не только в теме дело. Сам метод художественного видения мира идет от образцов великой нашей литературы.

Но, вместе с тем повесть Солженицына уже что-то иное сравнительно с литературой XIX века. Это — детище наших дней.

Как уже говорилось, некоторые изустные критики видят в повести чуть ли не подражание «Запискам из Мертвого дома» Достоевского. Как это неверно! Сходство темы не дает право на подобные толкования, здесь все иное, и прежде всего, я бы сказал, нравственный «базис» иной. Достоевский — великий живописец трагических душевных конфликтов. Весь смысл трагедии для него в душевном конфликте, в разладе души. Внешние жизненные обстоятельства подчас только лишь причина этого разлада. Художник, едва сославшись на причину, все свое великое мастерство обращает на детальную обрисовку «следствия» — страшной болезни человеческого самосознания.

Эта тема (разлад души) — вне поля зрения Солженицына. Вот почему, я думаю, современная буржуазная критика не примет писателя, как бы заманчива ни была для нее политическая сторона вопроса.

Солженицын с его верой в человека, цельного, «неразделенного», «неразлаженного» человека, вряд ли сыщет себе похвал у последователей Шопенгауэра и Бергсона.

Около года прошло со времени выхода в свет повести А. Солженицына. За это время он опубликовал несколько рассказов, которые вызвали критические отзывы в печати. Думается мне, что писатель торопится. Серьезный труд требует времени.

³ А. Караганов. Правда условного приема. «Вопросы литературы», 1962, № 6, стр. 30.